

Лекция 11.

Государственный интерес (III)

22 марта 1978 г. Государственный интерес (III). —
Государство как принцип понятности и
целесообразности. — Функционирование этого
правительственного интереса: (А) В теоретических
текстах. Теория сохранения государства. (Б) В
политической практике. Отношение конкуренции
между государствами. — Вестфальский договор и
конец Римской империи. — Сила, новый элемент
политического разума. — Политика и динамика сил. —
Первая технологическая система нового искусства
управления: военно-дипломатическая система. — Её
цель: поиски европейского равновесия. Что такое
Европа? Идея «баланса». — Её инструменты: (1) война:
(2) дипломатия: (3) введение постоянного военного
устройства

Итак я попытался вам в какой-то мере показать, как происходит в Европе то, что можно назвать прорывом «правительственного интереса». Я не хочу тем самым сказать, что это искусство управления, некоторые признаки которого я попытался вам обозначить в связи с пастырской практикой, становится процессом простого переноса, передачи одного из атрибутов суверенитета. Вовсе не король становится пастухом, пастухом тел и жизней, подобно тому как пастырь, духовный пастырь был пастухом душ и загробной жизни. То, что увидело свет — и именно это я вам и пытаюсь показать, — это совершенно особое искусство

управления, искусство, которое в себе самом имело своё собственное основание, свою собственную разумность, своё собственное ratio. Событие в истории западного разума, западной рациональности, которое, несомненно, не менее важно, чем то, которое точно в то же самое время, то есть в конце XVI — начале XVII века, было ознаменовано Кеплером, Галилеем, Декартом и так далее. Перед нами весьма сложный феномен преобразования этого западного разума. Это возникновение управленческого интереса, как я пытался вам показать, дало место определённому способу мышления, рассуждения, расчёта. Этот способ мышления, рассуждения, расчёта как раз и называется в ту эпоху политикой, и не следует забывать, что в то время политика воспринималась, что она сразу же беспокоила современников как нечто, связанное с инакомыслием. Иной способ мыслить, иной способ осмысливать власть, иной способ осмысливать королевскую власть, иной способ осмысливать царствование и управление, иной способ осмысливать связи царства небесного и царства земного. Именно это инакомыслие и определяется как политика, именно оно политикой называется; политика, которая для искусства управления была тем же, чем была в ту же эпоху математика для науки о природе.

Я хотел бы также показать, что это правительственное ratio, этот правительственный интерес очерчивал нечто такое, что было одновременно и его принципом и его объектом, его основанием и его целью, и этим нечто, одновременно и принципом и объектом правительственного интереса, является государство. Государство, которое было, если угодно, я сказал бы... принципом понятности и стратегической схемой, словом, если использовать выражение, бывшее анахронизмом в ту эпоху, о которой я говорю: регулирующей идеей. [1] Государство — это регулирующая идея правительственного интереса. Я тем самым хочу сказать, что государство в рамках этого политического мышления, в рамках того мышления, которое стремилось к рациональности искусства управления, государство было вначале принципом понимания реальности. Государство — это был определённый способ мыслить то, что уже имелось в его собственной природе и в его связях, в его отношениях, определённое количество элементов, определённое число уже данных институтов. Кто такой король? Кто такой суверен? Кто такой судья? Что представляют собой органы суда? Что такое закон? Что такое территория? Что представляют собой жители этой территории? Что представляет собой достояние государя? Что представляет собой достояние суверена? Всё это начинает восприниматься в качестве элементов государства. Государство было определённым способом осмысливать, анализировать, определять природу и связи всех этих данных элементов. Государство — это схема понимания всей совокупности уже установленных учреждений, всей совокупности уже данных реальностей. Следует отметить, что король определяется как персонаж, который имеет особую роль не столько по отношению к Богу, не столько по отношению к спасению людей, сколько по отношению к государству: к магистрату, к судье и так далее. Итак, государство как принцип понимания всей данной реальности, всей уже установленной совокупности институтов.

Во-вторых, государство функционирует в этом политическом разуме в качестве объекта, то есть как то, что должно быть достигнуто к концу активных вмешательств этого разума, этой рациональности. Государство — это то, что должно быть целью рационализации искусства управления. Это целостность государства, это завершение государства, это усиление государства, это — его восстановление, если оно было подвергнуто опасности или если

какая-то революция его разрушила или приостановила на какое-то время его силу и специфическую деятельность, это всё то, что должно быть достигнуто вмешательством государственного интереса. Государство — это, следовательно, принцип понимания того, что есть, но также и того, что должно быть. И понимание того, чем является государство, позволяет изменить в лучшую сторону существование государства в реальности. Принцип понимания и стратегическая цель — это, как я полагаю, и есть рамки управленческого интереса, который как раз и называют государственным интересом. Я хочу сказать, что государство — это, в сущности, регулирующая идея той формы мышления, той формы рефлексии, той формы расчёта, той формы вмешательства, которую называют политикой. Политика как *mathesis*, как рациональная форма искусства управления. Управленческий интерес, следовательно, полагает государство как принцип прочтения реальности и полагает его как объект и как императив. Государство — это то, что руководит управленческим интересом, то есть то, что создаёт возможность управлять рационально, следуя необходимости; это функция понимания государства по отношению к реальности и это причина того, что управление является разумным, является необходимым. Управление является разумным, потому что имеется государство и для того, чтобы государство имелось. Вот то небольшое, что я вам попытался рассказать в прошлый раз.

Всего этого, очевидно, совершенно недостаточно, чтобы суметь определить то, каким в реальности было функционирование этого государственного интереса, этого управленческого интереса. Действительно, если вновь обратиться к тем определениям государственного интереса, о которых я вам говорил, то мне кажется, в них всегда имеется нечто пусть и недвусмысленное, но колеблющееся, что-то вроде дрожащего, движущегося эффекта, колебание в определении. Не знаю, помните ли вы, когда я ссылался на текст Палаццо, написанный, изданный, опубликованный на итальянском в 1606 году и переведённый на французский в 1611, [2] помните ли вы, как определялся государственный интерес? Палаццо говорил, что государственный интерес — это то, что должно обеспечивать целостность государства, это, говорил он, и здесь я привожу сами его собственные выражения, «сама сущность мира, закон жизни в покое, само совершенство вещей». [3] Иначе говоря, Палаццо даёт здесь собственно эссенциалистское определение государственного интереса. Государственный интерес должен быть причиной того, чтобы государство действительно соответствовало тому, чем оно является, то есть оставалось в покое, оставалось близким его собственной сущности, чтобы его реальность точно соответствовала тому, что должно быть на уровне его идеальной необходимости. Государственный интерес, следовательно, и будет тем приведением реальности государства в соответствие вечной сущности государства, или во всяком случае его неизменной сущности. Скажем коротко: государственный интерес — это то, что позволяет сохранять государство в состоянии государства. И между прочим Палаццо (я цитировал вам этот текст) [4] употреблял слово *status*, которое одновременно означает и «государство», и «состояние» как неподвижность самой вещи. Сохранять государство в состоянии — вот о чём говорил Палаццо.

Но фактически в определениях самого Палаццо и в других определениях той же самой эпохи государственный интерес в то же самое время характеризуется и другой чертой, которая проявляется, я бы не сказал, как совершенно тайная, но, скажем, сдержанная. Палаццо на самом деле говорит, что государственный интерес — это правило, которое

позволяет обрести этот мир, этот покой, это совершенство вещей, обрести этот мир, его сохранить и приумножить. Ботеро, который, как я полагаю, был в Италии первым, кто создал теорию государственного интереса, говорит, что государственный интерес — это «совершенное знание средств, посредством которых государства образуются, сохраняются, укрепляются и усиливаются». [5] Хемниц, гораздо позже, во времена Вестфальского договора, говорил, что государственный интерес — это то, что позволяет установить, сохранить, усилить общество. [6] И если верно, что большинство теоретиков настаивают на том факте, что государственный интерес — это то, что позволяет сохранить государство, — используется слово «хранение», сохранение — то все добавляют, что помимо этого, вдобавок к этому, хотя, возможно, это и второстепенная задача, но его необходимо также и усилить.

Что же такое это усиление государства, которое примешивается во все определения, какие даются государственному интересу? Определения, наконец, тексты, которые я вам здесь цитирую, — текст Ботеро, текст Палаццо, разумеется, текст Хемница, несомненно, в меньшей степени, так как он был больше связан с определённой политической ситуацией, — большинство этих текстов лишь в малой степени были теми теоретическими и спекулятивными текстами, которые ещё хранили платоновский дух в том смысле, что именно сохранение государства в соответствии с сущностью государства должно, согласно им, характеризовать государственный интерес. Чего следовало избегать, так это, разумеется, тех квазиобязательных, во всяком случае всегда угрожающих, событий, о которых Бэкон, например, говорит в связи с мятежами. [7] Но есть ещё и нечто иное. Чего следует избегать, согласно Ботеро, согласно Палаццо и остальным, так это практических неизбежных процессов, во всяком случае всегда угрожающих ввергнуть государство в состояние упадка и, доведя его до точки зенита истории, стереть его с лица земли. Речь идёт о том, чтобы, в сущности, избегать — и именно в этом и для этого и функционирует согласно Ботеро и Палаццо государственный интерес — того, что случилось с царством Вавилона, с Римской империей, с империей Карла Великого, того цикла зарождения, роста, совершенствования и затем упадка. Этот цикл в словаре той эпохи как раз и называют «революцией».

Революция, революции — это та разновидность квазиестественного в конечном счёте, наполовину природного, наполовину исторического феномена, который вводит государства в циклическое движение, ведущее их сначала к свету и полноте, но затем заставляющее исчезать с лица земли. Это и есть революция. И то, что Ботеро и Палаццо понимают под государственным интересом, это, в сущности, сохранение государств вопреки революциям. В этом смысле, как вы видите, это близко к Платону, как я вам только что говорил, с тем различием, что, против упадка, всегда угрожающего городам, Платон предлагал средство в виде хороших законов и добродетельных правителей, тогда как люди XVI века, Ботеро, Палаццо, против этой квазифатальной угрозы революций предлагали не столько законы, не столько конституцию и даже не добродетель правителей, сколько искусство управления, то есть что-то вроде ухищрения, во всяком случае рациональность в средствах, используемых для управления. Но это искусство управления имеет, в сущности, ту же самую цель, что и законы Платона, то есть избежать революции, сохранить государство, одно лишь государство, в постоянном состоянии совершенства.

Но фактически в текстах, бывших менее теоретическими, менее спекулятивными, менее моралистскими или наставительными, чем тексты Ботеро и Палаццо, обнаруживается, как я полагаю, нечто совсем иное. Обнаруживается в текстах, исходящих от людей, наверняка более близких к политической практике, непосредственно в ней замешанных, которые сами её осуществляли, то есть в текстах, оставленных Сюлли, опубликованных под названием «Экономика королевства», [8] в текстах, оставленных Ришельё, в «Наставлениях», данных, например, послам или определённому числу чиновников, королевских служащих. И здесь мы видим, что эта теория сохранения государства совершенно недостаточна для того, чтобы охватить реальную практику политики и использование государственного интереса. Это иное, реальная опора того, что Ботеро и другие называли просто «усилением», является, как мне кажется, весьма важным феноменом. Это констатация того факта, что государства находятся рядом друг с другом в пространстве конкуренции. И я считаю, что эта идея в ту эпоху, является одновременно фундаментальной, новой и чрезвычайно плодородной относительно всего того, что можно назвать политической технологией. Почему это новая идея? Здесь можно говорить о двух аспектах — чисто теоретическом аспекте и аспекте, касающемся исторической реальности государства.

Теоретическая точка зрения: я полагаю, что идея, что государства находились между собой в состоянии конкуренции, является, в сущности, прямым, почти неизбежным следствием теоретических принципов, выдвигаемых государственным интересом, о которых я вёл речь в прошлый раз. Когда я пытался вам рассказать, каким образом представляли государственный интерес, то выяснилось, что государство определялось теоретиками государственного интереса как всегда имеющее свою собственную цель в себе самом. Государство руководствуется только самим собой. Нет, разумеется, никакого положительного закона, ни даже закона нравственного, ни закона природного, в крайнем случае нет даже и божественного закона — но это в конце концов иной вопрос, — в любом случае нет никакого закона, который мог бы быть извне навязан государству. Государство руководствуется только самим собой, оно стремится к своему собственному благу и не имеет никакой внешней конечной цели, то есть оно не должно вести к чему-то иному, кроме себя самого. Ни спасения суверена, разумеется, ни вечного спасения людей, никакой формы свершения или эсхатологии, к которой оно должно было бы склоняться. В последний раз напоминаю вам, что вместе с государственным интересом мы оказываемся в мире бесконечной историчности, в открытом и безграничном времени.

Иными словами, через государственный интерес прорисовывается мир, в котором неизбежно, окончательно и навсегда будет пребывать множество государств, у которых лишь в них самих будет свой собственный закон и своя собственная цель. Множество государств — это при таком подходе не переходная форма между первым унитарным королевством и последней империей, где обнаруживалось бы единство. Множество государств — это не переходная фаза, навязанная людям на время и с целью их наказания. Фактически, множество государств — это сама необходимость истории, теперь полностью открытой и не противостоящей во времени окончательному единству. Открытое время, многомерное пространство — вот то, что на деле подразумевается в той теории государственного интереса, о которой я вам говорил в прошлый раз.

Но по правде говоря эти теоретические следствия, несомненно, не смогли бы кристаллизироваться во что-то подобное политической технологии, если бы на самом деле они не были связаны с исторической реальностью, принцип понимания которой они как раз и образуют. Итак, эта историческая реальность, с которой связана идея истории, открытой во времени и пространстве, я сказал бы, государственно разнообразной истории, эта реальность, чем она является? Конечно, в течение XVI века, способом, тогда безусловно установленным, осязаемым, окончательным, признанным и, между прочим, институционализированным в XVII веке и в том знаменитом Вестфальском договоре, [9] о котором я вам вновь собираюсь рассказывать, те старые формы универсальности, которые предлагались и навязывались Европе на протяжении всех Средних веков и практически со времён Римской империи, как наследие Римской империи, теперь всё это, наконец, исчезает. Конец Римской империи — его необходимо датировать точно 1648 год, то есть годом, когда, наконец, признается, что империя не является окончательным предназначением всех государств, империя уже не является формой, в которой, как следует надеяться или мечтать, однажды сольются все государства. И в то же самое время всё ещё в том же самом Вестфальском договоре констатируется тот факт, что раскол церкви, вызванный Реформацией, этот раскол, с одной стороны, устанавливается, институционализируется, признается, [10] а с другой — государства в своей политике, в своём выборе, в своих союзах уже не должны объединяться в группы согласно своей религиозной принадлежности. Католические государства могут объединяться с протестантскими государствами, и наоборот, католические государства могут использовать протестантские армии, и наоборот.

Иными словами, те две главные формы универсальности, которые, несомненно, по крайней мере в случае с империей, стали на несколько лет, десятилетий, а может быть и столетий, чем-то вроде пустой оболочки, раковины без содержимого, но которая ещё сохраняла свою силу сосредоточения, притягательности и исторического и политического понимания, те две главные формы универсальности, какими были империя и Церковь, утратили своё предназначение и свой смысл, по крайней мере на уровне этой универсальности. Именно на эту реальность и накладывается принцип, существующий во времени, являющемся политически открытым, и в пространстве, государственно многообразном. Теперь мы имеем дело с единицами в какой-то мере безусловными, без какой-либо зависимости или подчинённости друг другу, по крайней мере в главном для них, и эти единицы — это иной аспект, иной угол исторической реальности, в которой всё это связывается — эти единицы утверждаются, или во всяком случае стремятся, стремятся утвердиться в пространстве, которое теперь является пространством экономических изменений, одновременно разнообразных, обширных и интенсивных. Они стремятся утвердиться в пространстве, которое является пространством торговой конкуренции и торгового господства, в пространстве денежного обращения, в пространстве колониального завоевания, в пространстве контроля над морями, и всё это сообщает утверждению каждого государства не просто форму самодостаточности, о чём я вам говорил в прошлый раз, но эту новую форму конкуренции. Можно утверждаться только в пространстве политической и экономической конкуренции, если использовать слова, в какой-то степени являющиеся анахронизмами по отношению к реальности, в пространстве конкуренции, которое сообщает свой смысл проблеме усиления государства как принципу, как путеводной нити государственного интереса.

Ещё более конкретно можно сказать, что все возникновение, скорее развитие государственного интереса, который может сохранять государство лишь посредством увеличения его сил в пространстве конкуренции, я считаю, что всё это принимает свой непосредственный и конкретный вид в общей сложности в проблеме Испании, или Испании и Германии. Государственный интерес, правда, рождается в Италии, он формулируется в Италии на основе специфических проблем отношений малых итальянских государств между собой.

Но если он развивается, если он действительно становится абсолютно основополагающей категорией мышления для всех европейских государств, если он не остаётся инструментом анализа, рефлексии, средством действия, стратегической формой, свойственной маленьким итальянским государствам, то причина в том, что все эти феномены, о которых я вам говорил, конкретизируются, принимают свой собственный вид именно в Испании. Испании, которая, с одной стороны, в качестве династической наследницы империи и семьи, которая империей владела, оказывается наследницей и претензий на универсальную монархию; Испании, которая, с другой стороны, с XVI столетия оказывается владелицей колониальной морской империи, охватывавшей почти всю планету и почти монополистической, по крайней мере после поглощения Португалии, наконец Испании, которая оказывается в глазах всей Европы примером изумительного феномена, десятками лет притягивавшего размышления хронистов, историков, политиков и экономистов — а именно что Испания по этой самой причине, по причине этой монополии, по причине обширности своей империи оказалась сказочным образом богатой — и за несколько лет ещё более сказочным и более быстрым образом обеднела в течение XVII века, а возможно даже и в начале XVI века.

Итак в Испании мы имеем дело с совокупностью процессов, которые, безусловно, и кристаллизовали все те размышления о государственном интересе и том пространстве конкуренции, в котором он отныне живёт. Во-первых, любое государство, как и Испания, лишь бы у него были средства, лишь бы оно имело для этого пространство, лишь бы оно действительно могло определить претензию, любое государство стремится занять по отношению к другим доминирующую позицию. Это будет стремление не непосредственно к империи, а к фактическому господству над другими странами. Во-вторых, само осуществление этого господства, то почти монопольное положение, которое Испания занимает либо приобретает, по крайней мере желает приобрести и почти достигает его на некоторое время, тем не менее постоянно находится под угрозой со стороны тех, кто мог ей бросать вызов или, наоборот, поддерживать, то есть существовала возможность обеднеть, а не обогатиться, исчерпать излишек своего могущества, и доминирующее положение могло стать жертвой того, что можно назвать теперь революцией, но в совершенно ином смысле: революцией как совокупностью реальных механизмов, посредством которых даже то, что могло обеспечивать могущество государства и его господство, вызывает вместо этого потерю или во всяком случае уменьшение его мощи.

Испания была тем привилегированным объектом, тем типичным примером, на основе которого развивался анализ государственного интереса. И понятно, что любой анализ государственного интереса, любой анализ той новой области политики, которой стремились дать определение, развивался главным образом у врагов и соперников Испании: во Франции, в Германии, которая пыталась освободиться от ярма имперского превосходства, в

Англии Тюдоров. Короче, на смену временам, которые ещё сохраняют своё господство, которые ещё служат горизонтом политического мышления XVI века, на смену временам объединяющей тенденции, находящейся под угрозой революций, приходят времена открытости, времена феноменов конкуренции, способной привести к реальной революции, революции на уровне механизмов, обеспечивающих богатство и могущество наций.

Если это так, то насколько всё это является новым? Разве можно утверждать, что открытость пространства конкуренции между государствами — это явление, возникающее внезапно в конце XVI и в начале XVII века, которое кристаллизовало целый ряд новых аспектов и новых форм развития государственного интереса? Конечно, ещё задолго до этого существовали соперничество, происходили столкновения, имели место феномены конкуренции. Но ещё раз, я хотел бы, чтобы было совершенно ясно, что то, о чём я говорю, то, что подлежит обсуждению во всём том, что я вам говорю, — это момент, когда все эти феномены начинают действительно проявляться в той призме рефлексии, которая позволяет организовать их в стратегии. Проблема в том, чтобы узнать, начиная с какого момента действительно были восприняты в виде конкуренции между государствами, конкуренции в открытой политической и экономической области, в неограниченном времени, эти феномены столкновения, соперничества, которые, очевидно, можно было констатировать во все времена. Начиная с какого момента мышление и стратегия конкуренции организуются, чтобы кодировать все эти феномены? Именно это я и хотел бы попытаться уловить, и мне кажется, что как раз начиная с XVI-XVII столетий отношения между государствами и воспринимаются уже не в виде соперничества, но в виде конкуренции. И здесь — разумеется, я могу только указать на проблему — я полагаю, что необходимо попытаться определить тот способ, каким столкновения между королевствами могли восприниматься, признаваться, высказываться и в то же время мыслиться и рассчитываться в виде соперничества и, в сущности, династического соперничества, а затем, начиная с определённого момента, их начинают осмысливать в виде конкуренции.

Весьма грубо, весьма схематично можно сказать, что пока остаётся в форме соперничества, которое само осмысливается как соперничество государей, как династическое соперничество, то существенным элементом было, конечно же, богатство государя, либо в форме сокровищ, которыми он владел, либо также в форме налоговых ресурсов, которыми он мог располагать. Первое из преобразований — это когда перестают осмысливать, рассчитывать, измерять возможности столкновения и возможности выхода из столкновения исходя из богатства принца, из сокровищ, которыми он владеет, из денежных ресурсов, которые у него имелись, и пытаются осмыслить их в виде богатства самого государства. Переход от богатства государя как фактора могущества к богатству государства как силы самого королевства. Во-вторых, второе преобразование — когда переходят от оценки могущества государя по обширности его владений к поиску более надёжных сил, даже если они были более тайными, сил, которые теперь будут характеризовать государство: то есть уже не сами владения, но богатства, присущие государству, ресурсы, то, чем оно располагает, природные ресурсы, торговые возможности, баланс торгового обмена и так далее. В-третьих, третье преобразование: когда осмысливают столкновение в терминах соперничества государей, и то, что характеризует могущество государя — это система его союзов, в семейном смысле или в смысле семейных обязательств, которые ему навязаны, и начиная с момента, когда начинают осмысливать столкновения в терминах конкуренции, а

союзы в качестве временного сочетания интересов, когда возможности измеряются и рассчитываются.

Этот переход от соперничества государей к конкуренции государств, несомненно, является одним из важных изменений формы того, что можно назвать политической жизнью и историей Запада.

Конечно, переход от династического соперничества к конкуренции государств — это сложный, медленный переход, который я изображаю в совершенно искажённом виде, указывая лишь на некоторые признаки, а на самом деле промежуточные ситуации будут более долгими. Например, война за испанское наследство в начале XVIII века [12] будет ещё вся целиком насыщена проблемами и приёмами, и подходами, способами действия и мысли, характерными для династического соперничества. Но я считаю, что в случае с войной за испанское наследство мы имеем перед собой неудачу, с которой династическое соперничество столкнулось, имеем последний момент, последнюю форму столкновения, в которой династическое соперничество государей ещё заполняет и до какой-то степени руководит чем-то похожим на конкуренцию государств, которая затем проявится в свободном, обнажённом состоянии в последующих войнах. Во всяком случае начиная с момента, когда совершается переход от соперничества государей к конкуренции между государствами, начиная с момента, когда столкновения осмысливаются в терминах конкуренции государств, очевидно, что раскрывается, что становится явным одно понятие, безусловно важное и основополагающее, которое до этого ещё себя не обнаруживало, которое не было сформулировано ещё ни в одном из тех теоретических текстов о государственном интересе, о которых я вам говорил, и этим понятием, разумеется, является понятие силы. Это уже не возрастание территорий, но это рост сил государства; это уже не расширение возможностей посредством брачных союзов, а приумножение сил государства; это уже не сочетание наследств посредством династических союзов, а композиция государственных сил во временных политических союзах: все это и будет первоначальной, объектом и в то же время принцип понимания политического интереса.

Политический интерес, если теперь его рассматривать уже не в тех теоретических, и уж тем более не в эссенциалистских и платоновских текстах, о которых я вам говорил, но если его рассматривать в формулировках, свойственных концу XVI — началу XVII века, главным образом относительно Тридцатилетней войны, [13] и характерных для тех людей, которые были скорее практиками, а не теоретиками политики, то мы обнаружим новый политический пласт. Этот новый теоретический и аналитический пласт, этот новый элемент политического интереса — это сила. Это сила, сила государств. Теперь перед нами политика, где главным объектом использования и расчёта будет сила. Политика, политическая наука встречается с проблемой динамики.

Тогда, очевидно, открывается проблема, которую я оставляю полностью нерешённой, я вам на неё просто указываю. Вы видите, что та эволюция, которая безусловно происходит на основе исторической реальности и определённых исторических процессов, — речь идёт об открытии Америки, об образовании колониальных империй, об исчезновении империи, о снижении, об исчезновении универсалистских функций церкви, — в конечном счёте все эти феномены, которые были тем, чем они были и которые имели свою необходимость и своё

собственное понимание, приводят нас к тому, чем на уровне политического мышления было появление основополагающей категории силы. Все эти феномены ведут к изменению в политическом мышлении, которое служит причиной того, что перед нами впервые имеется политическое мышление, которое в то же самое время становится стратегией и динамикой сил. Итак, в то же самое время и благодаря совершенно иным процессам, как это вам в полной мере известно, именно науки о природе и по сути дела физика встречаются также с этим понятием силы. Так что политическая динамика и динамика как физическая наука были почти современниками. И у Лейбница [14] можно увидеть, как всё это соединяется, у Лейбница, который является общим теоретиком, сила как с историко-политической точки зрения, так и с точки зрения физической науки. Почему это произошло именно так и что собой представляет такая одновременность? Я признаю, что строго говоря, ничего об этом не знаю, но считаю, что необходимо ставить проблему даже в той мере, в какой мы в случае с Лейбницем имеем доказательство, что однородность двух процессов не была совершенно чужда мышлению современников.

Резюмируем всё это. Подлинной проблемой этой новой правительственной рациональности является, следовательно, не только и не столько сохранение государства в общем порядке, но сохранение определённого соотношения сил, сохранение, поддержание или развитие динамики сил. Итак, как я полагаю, чтобы раскрыть политический интерес, который теперь определяется, в сущности, на основе динамики сил, чтобы сделать это, Запад или западные общества устанавливают две наиболее важные системы, которые могут быть поняты лишь на основе этого, на основе этой рационализации сил. Этими двумя наиболее важными системами, о которых я вам буду говорить сегодня и в следующий раз, были, с одной стороны, военно-дипломатическое устройство, а с другой — устройство полиции, в том смысле, какой это слово имело в ту эпоху, — но какую функцию выполняли эти две наиболее важные системы? Во-первых, сохранение соотношения сил, а с другой стороны, рост каждой силы, без чего имел бы место распад системы. Это сохранение соотношения сил и это развитие сил, внутренне свойственных каждому элементу, их соединение, — все это мы и назовём позже механизмом безопасности.

Во-первых, новые технологии военно-дипломатического типа. Если государства находятся по отношению друг к другу в конкуренции, то необходимо найти систему, которая позволяет насколько возможно ограничивать мобильность всех остальных государств, их амбиции, их рост, их усиление, но оставляя тем не менее каждому государству возможность добиваться своего максимального усиления, не провоцируя его противников и не доводя это усиление ни до своего собственного исчезновения, ни до своего ослабления. Эта система безопасности была намечена и полностью установлена в рамках Тридцатилетней войны, в рамках, следовательно, тех ста лет религиозной и политической борьбы, [15] которые явно и окончательно привели к исчезновению и имперской мечты, и церковного универсализма, а также к установлению определённого количества государств, которые все могли стремиться к своему самоутверждению и к окончательной форме своей собственной политики. Эта система, установленная в конце Тридцатилетней войны, что она в себя включала? Она предполагала определённую цель и она предполагала инструменты.

Целью было равновесие Европы. Как и государственный интерес, равновесие Европы имело итальянское происхождение; идея равновесия была итальянского происхождения. Как я

полагаю, у Гвиччардини обнаруживается первый анализ всей этой политики, посредством которой каждый из итальянских князей пытался поддерживать в Италии состояние равновесия. [16] Оставим Италию и вернёмся в Европу. Равновесие Европы — что же это значит? Когда дипломаты, послы, которые вели переговоры о Вестфальском мире, получили от своих правительств инструкции, [17] им ясно было рекомендовано сделать так, чтобы новые линии границ, новые разделения государств, новые отношения, устанавливаемые между немецкими государствами и империей, зонами влияния Франции, Швеции, Австрии, чтобы всё это зависело от принципа: сохранить определённое равновесие между различными государствами Европы.

Во-первых, что же такое Европа? Идея абсолютно новая — эта идея Европы в начале или в первой половине XVII столетия. Что же такое Европа? Во-первых, это как раз то объединение, которое уже не имеет того универсалистского призвания, какое имело, например, христианство. Христианство по определению, по призванию стремилось охватить мир в целом. Европа же — это географическое разделение, которое в эту эпоху не включает в себя, например, Россию и включает Англию, только весьма двусмысленным образом, поскольку Англия действительно не принимала участия в Вестфальском договоре. Следовательно, Европа — это определённое географическое разделение, явно ограниченное, без универсальности. Во-вторых, Европа не является иерархической формой государств, в той или иной мере подчинённых друг другу, формой, которая восходила бы к некой высшей и единственной форме, какой была империя. Каждый правитель — я выражаюсь здесь, как вы видите, довольно грубо, впоследствии всё это надо бы исправить — каждый правитель является императором в своём собственном королевстве, или во всяком случае главные правители были императорами в своём королевстве, и ничто не говорит о том, что у какого-либо одного из правителей одного из этих государств было превосходство, которой делало бы из Европы что-то вроде единой системы. Европа в своей основе множественна. Что, разумеется, не значит, — и здесь я сразу же исправляю то, о чём только что говорил, — что между государствами нет различий. (М. Ф.: и, наоборот, были весьма значительны. — Прим. ред.) Весьма примечательно (М. Ф., Обнаруживается. Рукопись, с. 14: «*trutina*» sive *bilanx* *Europeae*» (выражение, цитируемое Л. Донадье. *La Theorie de l'équilibre. Etude d'histoire diplomatique et de droit international*. Докторская диссертация по политическим наукам. Университет Экс-Марселя). Париж, 1900. с. 3. — Прим. ред.) например, что ещё до Вестфальского договора Сюлли рассказывает о Генрихе IV и о том, что он называет «великолепным проектом». [18]

Великолепный проект, который Сюлли намеревался сделать достоянием политической мысли Генриха IV, состоял в том, чтобы образовать единую Европу, но, разумеется, Европу многообразную, Европу как ограниченное географическое разделение, без универсальности и без восходящего единства, разумеется, но в которой было бы пятнадцать государств более сильных, чем остальные, которые принимали бы решения за остальных. [19] Итак, это географическое разделение, многообразие без единства государств, среди которых имеется главное, если не образующее, если не всё усложняющее различие, главное различие между малыми и большими государствами. Наконец, четвёртый признак Европы — это то что она, будучи географическим разделением, многообразием, не может не иметь отношений с миром в целом, но это отношение к миру в целом отмечено спецификой самой Европы по отношению к миру, поскольку Европа должна иметь и начинает иметь с остальным миром

лишь определённый тип отношений, которые являются отношениями экономического господства или колонизации, или во всяком случае торгового использования. Европа как географический регион множества государств, без единства, но с неравенством между малыми и большими, вступала с остальным миром в отношения использования, колонизации, господства, и эта мысль формируется в конце XVI и в самом начале XVII века, эта мысль принимает свою окончательную форму в середине XVII века в совокупности договоров, подписанных к этому моменту, и из этой исторической реальности мы всё ещё не вышли и сегодня. Вот что такое Европа.

Во-вторых, баланс. Что же такое баланс Европы? [20] На латыни — это *trutina Europae* (Рукопись, с. 14: «*trutina*» sive bilanx Europeae» (выражение, цитируемое Л. Донадьё. *La Theorie de l'équilibre. Etude d'histoire diplomatique et de droit international*. Докторская диссертация по политическим наукам. Университет Экс-Марселя). Париж, 1900. с. 3. — Прим. ред.). Слово «баланс» используется во многих значениях в текстах этой эпохи. Баланс Европы — это означает, в соответствии с различными странами, в соответствии с различными политиками, в соответствии с различными моментами, во-первых, невозможность для более сильного государства диктовать свой закон любому другому государству. Иными словами, баланс Европы сохранится, если всё будет устроено так, чтобы различие между более сильными государствами и теми, кто за ними следует, не было таким, чтобы более сильные государства смогли навязать свой закон всем остальным. Ограничение, следовательно, разрыва между более сильными и остальными. Первый пункт (М. Фуко в рукописи ссылается на «*Sully, le magnifique dessein*». См. ниже, прим. 18. — Прим. ред.). Во-вторых европейский баланс, европейское равновесие задумывается как образование ограниченного числа более сильных государств, между которыми равенство будет поддерживаться до такой степени, что каждое из таких более сильных государств сможет помешать любому другому выйти вперёд и восторжествовать над остальными. Иными словами, образование аристократии государств, причём, уравнивающей аристократии, которая принимает форму, например, равенства сил между Англией, Австрией, Францией и Испанией. В такой квадриге, как эта, подразумевается, что никто из четырёх не сможет значительно превзойти остальных, так как три остальных сразу же, если это начнёт происходить, сумеют воспрепятствовать этому тем или иным способом.

Наконец, третье определение европейского равновесия — это то, которое легче всего обнаруживается у юристов, и из которого затем вытекает весь тот ряд последствий, какие вы только можете вообразить. Вы находите его в XVIII веке у Вольфа в «*Jus gentium*», где он говорит, что европейское равновесие должно заключаться в следующем: в том, что «взаимный союз множества наций» следует суметь создать так, чтобы «преобладающее могущество одной или многих стран было равно могуществу остальных». [21] Иными словами, необходимо, чтобы всё было устроено так, чтобы объединение многих маленьких держав смогло уравновесить силу высшей державы, которая рискнула бы угрожать одной из них. Возможность, следовательно, коалиции, которая была бы такой, что эффект коалиции мог бы уравновесить, в данный момент и в данном месте, любой установившийся перевес. Абсолютное ограничение силы более сильных, уравнивание самых сильных, возможность объединения более слабых против более сильных — это и были три формы, которые замыслились и вынашивались в воображении, чтобы образовать европейское равновесие, баланс Европы.

Вы видите, что вместе с этими различными процедурами, вместо чего-то вроде абсолютной эсхатологии, которая устанавливала в истории как точку её завершения империю, универсальную монархию, приходит нечто, что можно назвать относительной эсхатологией, эсхатологией временной и хрупкой, но к которой необходимо стремиться, и этой хрупкой эсхатологией является мир. Это всеобщий мир, мир относительно универсальный и мир относительно окончательный, но этот мир, о котором в данный момент мечтают, уже не ждут от единого и в конечном счёте неоспоримого первенства наподобие первенства империи или церкви. Этот всеобщий и относительно универсальный, окончательный и относительно окончательный мир ожидается, наоборот, от многообразия без главных и единственных в своём роде последствий господства. Уже не единство порождает мир, а не-единство, множество, сохраняемое как множество. И вы видите, сколько теперь в исторической перспективе, но в то же время и в форме дипломатической техники имеется отличного от того, что могло быть, например, в Средние века, где именно от Церкви ожидали мира, потому что она была единой властью, единой и унифицирующей. Теперь мир ожидается от самих государств и от их множества. Значительное изменение. Вот какова цель обеспечения той безопасности, в которой каждое государство может действительно увеличить свои силы без того, чтобы увеличение его сил было причиной разрушения для других или для него самого.

Во-вторых, инструменты. Инструменты, которые создаёт для себя государственный интерес, основа которого является дипломатической, и определяется она, в сущности, образованием единой Европы, европейского баланса; этих инструментов, как я полагаю, три. Первый инструмент этого ненадёжного всеобщего хрупкого, временного мира, принимающего видимость баланса и равновесия между множеством государств, — это, само собой разумеется, война. То есть отныне нужно быть способным развязать войну, или лучше быть обязанным развязать войну, чтобы поддерживать это равновесие. И теперь мы видим, как полностью переворачиваются функции, формы, обоснования, юридические проекты войны, а также и её цели. И после этого война, какой её представляли в Средние века, чем она стала? Война — это, в сущности, поступок — я хотел сказать: в юридическом, но точнее — в судебном смысле. Зачем начинали воевать? Когда имела место несправедливость, когда имело место нарушение прав или во всяком случае когда кто-то стремился приобрести какое-то право, которое оспаривалось кем-то другим. В средневековой войне не было никакого разрыва между миром права и миром войны. Не было даже разрыва между вселенной частного права, где речь шла о том, чтобы устранить споры, и миром права, которое не называлось и не могло называться международным и публичным, миром, который был миром столкновения государей. Всегда имели место тяжбы и устранение тяжб — ты овладел моим наследством, ты присвоил себе мои земли, ты отверг мою сестру, — и всегда вступали в сражения, и войны разворачивались в юридических рамках, были войны публичные и войны частные. Это была публичная война как война частная, или это была частная война, которая принимала публичное измерение. Это была война за права, и, между прочим, война прекращалась как юридическая процедура чем-то таким, что считалось победой, и победа была чем-то подобным суду Бога. Ты проиграл, следовательно, права были не для тебя. Что касается этой непрерывной связи права и войны, этой однородности между сражением и победой и судом Бога, то я отсылаю вас к книге Дюби «Le Dimanche de Bouvines», [22] где вы найдёте страницы, проливающие свет на юридическое функционирование войны.

Теперь же перед нами война, функционирующая иначе, поскольку, с одной стороны, больше нет войны за права, но есть война государства, государственного интереса. В сущности, нет потребности дать юридическое обоснование, чтобы начать войну. Есть полное право, чтобы развязать войну, дать ей чисто дипломатическое обоснование — равновесие нарушено, необходимо остановить равновесие, имеется излишек власти, с одной стороны, и его нельзя терпеть. Конечно, будет найден и юридический повод, но война отделяется от этого юридического повода. Во-вторых, если война утрачивает свою непрерывную связь с правом, то вы видите, что она восстанавливает другую непрерывную связь, и эта другая непрерывная связь является связью с политикой. Эта политика как раз и имеет своей функцией сохранение равновесия между государствами, эта политика должна обеспечить баланс государств в европейских рамках, то есть именно она и развязывает войну в данный момент, войну того или иного характера, развязывает её до определённой степени и только в определённой степени, чтобы равновесие не было чрезмерно нарушено, с системой союзов и так далее. И как следствие, начиная с этого момента и появляется принцип, который вам прекрасно известен, хотя он будет сформулирован почти двумя столетиями позже тем, кто скажет: «Война — это политика, продолженная иными средствами». [23] Но он только констатировал перемену, которая фактически произошла в начале XVII века, (М. Ф.: в момент этого великого образования. — Прим. ред.) вместе с установлением новой дипломатии, нового политического интереса в момент Вестфальского договора. Не следует забывать, что на бронзе орудия короля Франции было написано: «Ultima ratio regum» «Последний довод короля». [24] (Следует частично неразборчивая фраза: [...] политический интерес теперь ставится выше канона. — Прим. ред.) Итак, первый инструмент функционирования этой системы европейской безопасности, европейского равновесия.

Второй инструмент, разумеется, столь же древний, как и война, и также глубоко обновлённый, — это дипломатический инструмент. И именно в этот момент мы и видим, как возникает нечто относительно новое — здесь в конце концов следовало бы выразиться точнее, во всяком случае нечто подобное Вестфальскому договору, многостороннему договору, в котором не устраняется спор между несколькими персонами, но в котором множество государств, за исключением Англии, образующих ту новую совокупность, которой является Европа, намерены урегулировать свои проблемы, урегулировать свой конфликт. [25] Урегулировать — не значит просто последовать тем юридическим направлениям, которые предписаны законом и традициями. Не значит последовать направлениям, предписанным правами о наследовании или правами победителя, условиями выплаты, брака, передачи. Направления сил, которым следуют дипломаты в этом многостороннем договоре, — это направления, определяемые необходимостью равновесия. Будут изменяться, будут предметом торга, будут переноситься территории, города, епископства, порты, аббатства, колонии — в зависимости от чего? Дело не в старом праве о наследовании и не в старом праве победителя, дело в зависимости от физических принципов, поскольку речь идёт о том, чтобы присоединить такую-то территорию к такой-то, передать такой-то доход такому-то принцу, предоставить такой-то порт такой-то территории в зависимости от принципа, требующего, чтобы определённое межгосударственное равновесие было установлено таким образом, чтобы оно было как можно более устойчивым.

Именно физика государств, а уже не право правителей, становится основополагающим принципом этой новой дипломатии. И в связи с этим, разумеется, всё ещё в порядке дипломатии, мы видим, как возникает создание того, что пока ещё нельзя назвать постоянными дипломатическими миссиями, но во всяком случае возникает организация практически постоянных переговоров и организация системы информирования относительно состояния сил каждой страны (я к этому ещё сейчас вернусь). Постоянные послы — это фактически институт, имеющий длительный генезис, институт, возникающий, устанавливающийся в конце XV — начале XVI века, но серьёзная, осознанная и абсолютно постоянная организация дипломатии, всегда готовой вести переговоры, датируется этой эпохой. То есть перед нами идея постоянного установления отношений между государствами, установления отношений, которые не сводятся ни к имперскому единству, ни к церковной универсальности.

Эта идея настоящего сообщества наций, и здесь я не использую это слово ретроспективно. Эта идея формулируется именно в этот момент. Вы обнаружите её у некоего Крюсе, который написал в начале XVII века что-то вроде утопии под названием «Новый Киней», [26] в которой он проектирует, с одной стороны, полицию [27] (я вернусь к этому в следующий раз [28]), и затем, с другой стороны, в то же самое время и в безусловно существенной корреляции — которая объясняет вам, почему, обещав говорить вам о полиции, я чувствую, что должен говорить вам прежде всего о военно-дипломатических отношениях, — постоянную организацию между государствами, организацию консультаций с послами, постоянно собирающимися в одном городе. Этим городом была Венеция, территория, о которой он говорит, что она нейтральна и одинаково безразлична ко всем князьям, [29] и эти послы, постоянно собирающиеся в Венеции, были обязаны устранять споры и тяжбы и заботиться о том, чтобы принцип равновесия сохранялся. [30]

Эта идея, что государства образуют между собой в европейском пространстве что-то вроде сообщества, эта идея, что государства были подобны индивидам, которые должны иметь между собой определённое число отношений, которые право должно устанавливать и кодифицировать, именно эта идея в эту эпоху породила развитие того, что называли правами человека, *gentium*, становящимися одним из основополагающих пунктов, одним из очагов активности юридической мысли, особо интенсивным, поскольку речь идёт о том, чтобы определить, каковы юридические отношения между этими новыми индивидами, сосуществующими в новом пространстве, а именно между государствами Европы, государствами в сообществе наций. И тогда идею, что государства были сообществом, вы обнаружите ясно сформулированной в тексте самого начала XVIII века, у одного из крупнейших теоретиков прав человека по имени Бюрламаки — это «Начала права природы и людей» [31] — и который говорит: «Европа создаёт сегодня политическую систему, единое целое, где всё связано отношениями и различными интересами наций, проживающих в этой части мира. Она уже не является, как раньше, хаотическим нагромождением изолированных частей, каждая из которых считалась мало заинтересованной судьбой остальных и редко беспокоилась о том, что её непосредственно не касалось» — что является исторически совершенно ложным, но не важно, как это происходило раньше, важно, как он определяет настоящее положение дел: «Постоянное внимание правителей ко всему тому, что происходит у них и у остальных, постоянные дипломатические представители [ссылка на постоянных дипломатов. [32] — М. Ф.] постоянные переговоры превращают современную

Европу в разновидность республики, члены которой, независимые, но связанные общим интересом, объединяются, чтобы поддерживать порядок и свободу».

Вот так, следовательно, рождается эта идея Европы и европейского баланса. Она окончательно оформляется вместе с Вестфальским договором, [33] первой ясной, осознанной, завершённой манифестацией политики европейского равновесия, договором, главной функцией которого является реорганизация Европы, определение его статуса, её прав по отношению к немецким княжествам, зон влияния Австрии, Швеции, Франции на немецкой территории — все это в зависимости от законов равновесия, объясняющих нам, чем Германия могла стать и действительно стала, — очагом разработки европейской республики. Никогда не следует забывать того, что идее Европы как политической и юридической целостности, Европы как системы политической и дипломатической безопасности, — именно эту идею более могущественные страны (этой Европы) навязывали Германии всякий раз, когда они пытались заставить её забыть об образе спящего императора, которым был Карл Великий или Барбаросса, или тот маленький человек, сгоревший вместе со своей собакой и своей любовницей майским вечером в помещениях канцелярии (Очевидный ляпсус. Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в подземном бункере Рейхсканцелярии в Берлине. — Прим. ред.). Европа — это способ заставить Германию забыть об империи. И поэтому не следует удивляться, что если император на самом деле никогда не просыпается, то Германия иногда исправляется и говорит: «Я — Европа. Я — Европа, так как вы хотите, чтобы я была Европой». И она говорит это именно тем, кто желает, чтобы она была Европой, и чтобы не было ничего, кроме Европы, ни французского империализма, ни английского господства, ни русского экспансионизма. Все желали заменить в Германии стремление к империи на обязательства перед Европой. «Хорошо, — отвечала Германия, — пусть Европа будет моей империей.

Справедливо, чтобы Европа была моей империей, — говорит Германия, — поскольку вы создали Европу лишь для того, чтобы навязать Германии господство Англии, Франции и России». Не следует забывать этот анекдот, когда в 1871 году. Тьер беседовал с немецким уполномоченным, которого, как я полагаю, звали Ранке, и которому он сказал: «Но тем не менее против чего вы сражаетесь? У нас нет больше армии, никто не может вам сопротивляться, Франция исчерпала свои силы, Коммуна нанесла последний удар по возможностям сопротивления, против кого вы начинаете войну?» Ранке ответил: «Но это же ясно, против Людовика XIV». Теперь о третьем инструменте этой военно-дипломатической системы, позволяющей обеспечивать европейский баланс, — итак, это были война, во-первых, новая форма, новая концепция войны, [во-вторых] дипломатический инструмент, — третьим инструментом будет создание элемента, настолько же фундаментального и настолько же нового: введение постоянного военного устройства, который включает в себя, во-первых, профессионализацию военнослужащего, учреждение военной карьеры: во-вторых, постоянную армейскую структуру, способную служить основой чрезвычайного рекрутирования во времена войны; в-третьих, оснащение крепостей и транспорта; наконец, в-четвёртых, знание, тактические размышления о типах маневров, о схемах атаки и обороны, короче, все самостоятельные размышления о военном предмете и о возможных войнах. Возникновение этого военного аспекта, который далеко не исчерпывается практикой войны.

Существование постоянного военного устройства, дорогостоящего, имеющего огромное значение внутри самой системы поддержания мира, — это был, разумеется, один из инструментов, необходимых для создания европейского равновесия. Как на самом деле можно было бы сохранить это равновесие, если бы у каждого из государств, по крайней мере у наиболее могущественных, не было бы этого военного строя, и если бы этот военный строй не был бы в конечном счёте, в целом, глобально, на том же самом уровне, что и строй его главного противника? Создание, следовательно, военного устройства, который будет не столько присутствием войны в состоянии мира, сколько присутствием дипломатии в политике и в экономике, существование этого постоянного военного строя является одной из наиболее важных сторон в политике, руководствующейся расчётом равновесия, сохранением силы, достигаемой на войне или благодаря возможности войны, или благодаря военной угрозе. Короче, это один из наиболее важных элементов в той конкуренции государств, каждое из которых стремится, конечно же, перевернуть соотношение сил в свою пользу, но при этом все желают это соотношение в целом сохранить.

Здесь мы также видим, что принцип Клаузевица, что война является продолжением политики, имеет свою опору, как раз ту опору, какой и было создание военных институтов. Война — это уже не обратная сторона деятельности людей. Война в данный момент становится созданием определённого числа средств, которые определены политикой и среди которых военные средства являются одной из наиболее важных и основополагающих составляющих. Итак, перед нами военно-политический комплекс, абсолютно необходимый для образования европейского равновесия в качестве механизма безопасности; этот военно-политический комплекс будет действовать постоянно, и война будет лишь одной из его функций. Понятно, (Предположение; несколько слов неразборчивы. — Прим. ред.) что соотношение того, что представляют собой мир и война, соотношение гражданского и военного вновь вокруг всего этого переустраивается. (Рукопись добавляет, с. 20: «Четвёртый инструмент: информационный аппарат. Знать о своих собственных силах (и тем не менее скрывать их), знать о силах остальных, союзников, противников, и скрывать, что знаешь их. Но знание предполагает, что мы знаем, в чём состоит сила государств. Где тайна, в чём она заключается: загадка Испании, утратившей своё могущество, загадка Объединённых Провинций, одного из наиболее значительных государств Европы». — Прим. ред.)

Хорошо, я немного задержал вас, прошу меня извинить. Тогда в следующий раз я расскажу вам о другом наиболее важном механизме безопасности, установленном в рамках этого государственного интереса, отныне руководствующегося проблемой силы и могущества, и этот другой инструмент, эта другая наиболее важная технология, это уже не военно-дипломатический строй, это политический строй полиции.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 22:13:44

Зверобой обновил 27 января 2026 22:14:56